# Портрет моей матери

***Нехай маты усмехнётся,
 Заплакана маты.
 Шевченко

Она подымается на пятый этаж,
 Мелкая старушка с горькими слезами.
 Лестница та же, и дверь всё та ж…
 Но как волнуется! Точно экзамен.
 Прыгают губы. Под сердцем нудит.
 За дверью глухо звучит пианино.
 С медной таблички бесстрастно глядит
 Чужая жизнь родного сына.

Здесь кухня в шутку зовётся «лог»,
 «Рыцарской залой» – столовая,
 Послеобеденный чай – файф-о-клок
 (Кто его знает, что за слово?)
 И всё это комнатное арго
 Полно игнорирующего уюта.
 Она себя чувствует здесь каргой,
 Севшей на шкаф и взирающей люто.

Но наконец нажимает звонок.
 Его холодок остаётся на пальцах.
 Слушает… Вот! Это стук его ног.
 Да-да. Это он. Её мальчик.
 В последний раз поправляет платок…
 На лестницу бурно вырвался Штраус.
 Я ей улыбаюсь, снимаю пальто,
 Чмокаю в щёку. Стараюсь.
 Она так мизерна. Может быть, я
 Слишком басю? Я дьявольски кроток.
 Это лучшие миги её бытия,
 Она на минуту чувствует отдых.
 И вместе с убогой лысой лисой
 С души стекают ледовые оползни.
 Её вековечное лицо
 Опять становится симферопольским.

И слушаю этот милый слог,
 И крымский пейзаж оживает снова…
 Как в зимнем сене сухой василёк,
 В речи попадается татарское слово.
 Но вдруг исчезают «сенап» и «шашла»,
 Лицо старушки сведено драмой:
 Слышится внучкин голос: «Мама!
 Чёрненькая бабушка пришла».

И входит жена, и зовёт пить чай.
 И мы неестественно выходим из комнаты.
 Старушка идёт, как сама печаль,
 А мы с женой, как виновные в чём-то…
 И к «чёрненькой бабушке» из-за стола
 Розовая тёща встаёт и кланяется,
 Подчерица вскакивает, как стрела,
 Вспрыгивает женина племянница.
 И каждый считает, что он не прав.
 И все выстраиваются по линии,
 Как будто в воздухе летят Эринии,
 Богини материнских прав.
 Но гранд-парада почётный строй
 Старушка встречает горькой усмешкой:
 Она себя чувствует здесь турой,
 Стиснутой королевой и пешками.
 Корни обиды глубоко вросли.
 Сыновий лик осквернён отныне,
 Как иудейский Иерусалим,
 Ставший вдруг христианской святыней.

А что ей почёт? Это так… По годам.
 От победителей нет признанья.
 Она лишь попавшая к господам
 Ихнего сына старая няня…
 И дымная трудовая рука
 В когтях и мозолях – рука вороны –
 Делает к сахару два рывка
 И вдруг становится как бы варёной,
 Как пронзённой мильонами глаз…
 И так ей муторно, как от болести,
 Точно рука у неё зажглась
 Огненной казнью на Лобном месте.
 И всё молчит. То ли тема узка,
 То ли напротив: миф для трагедии.
 Берёт она два небольших куска,
 Хотя ей очень хочется третий.
 И я с раздраженьем хватаю ещё
 И, улыбаясь, кладу в её чашку.
 «К чему?» Она поднимает плечо –
 И всем становится тяжко.
 Потом жена её снова зовёт,
 Уложит, укроет оленьей шубой.
 И снится ей, что она живёт
 Вместе с сыном в таврической глуби;
 Что нет у него ни жены, ни детей.
 Она в чулке бережёт его тыщи…
 К чему? Зачем? Неизвестно и ей.
 Просто так. Для духовной пищи.

Потом очнётся, как от вина,
 Вздохнёт, отлежится и скажет сторожко:
 «Дал бы, сынок, сахарку старушке,
 Но только пускай не знает она».

И я, подмигнув, забираюсь в «лог»
 И зазываю жену из «зала»:
 «Дай-ка, рыжик, для мамы кулёк,
 Но так, чтобы ты, понимаешь, не знала!»

И мать уходит. Держась за карниз,
 Бережно ставя ноги друг к дружке,
 Шажок за шажком ковыляет вниз,
 Вся деревянненькая, как игрушка,
 Кутая сахар в заштопанный плед,
 Вся истекая убогою ранкой,
 Прокуренный чадом кухонных лет,
 Старый, изуродованный жизнью ангел.
 И мать уходит. И мгла клубится.
 От верхней лампочки дома темно.
 Как чёрная совесть отцеубийцы,
 Гигантская тень восстала за мной.

А мать уходит. Горбатым жуком
 В страшную пропасть этажной громады,
 Как в прах. Как в гроб. Шажок за шажком.
 Моя дорогая. Заплакана маты…***